

Содержание

НА ЮГЕ

11

АРТИСТКА ИЗ КАХАНИ

35

ЗАДЕРЖАВШИЙСЯ

137

ОКЛАХОМА

141

СТАРИК НА ПЛОЩАДИ

213

*Посвящается
Стиву и Анни Мерфи,
а еще Элизе,
разумеется*

HA IOΓE



День, когда упал Младший, начинался как и любой другой: рябь в воздухе от вспышки зноя, трубный глас солнца, набегающий волнами шум машин, молитвенный напев в отдалении, музыка из второсортного кино этажом ниже, танцы в соседском телевизоре с тряской бедрами, детский плач, материнский окрик, смех неизвестного происхождения, алые плевки, велосипеды, свежезаплетенные косички школьниц, запах крепкого кофе, промельк изумрудного крыла в листе... Старший и Младший, два глубоких старика, очнулись в своих спальнях на четвертом этаже дома цвета морской волны в зеленом переулке неподалеку от пляжа Эллиотс-Бич, где по вечерам обычно собиралась молодежь, чтобы исполнять ритуалы юности, — по соседству с поселком рыбаков, у которых на все эти вольности не было времени. Бедняк — он днем и ночью пуританин. А старики исполняли свои ритуалы, и дожидаться вечера им не нужно было. Когда солнце вошло в них свои лучи, проникнув сквозь жалюзи, оба с трудом встали на ноги и, пошатываясь, вышли на соседние лоджии, появившись на сцене почти одновре-

менно, как герои старинной сказки, попавшие в силки фатальных совпадений, не способные избежать последствий случая.

Почти сразу они заговорили. Слова их были не новы — ритуальные реплики, реверансы новому дню в формате переключки, похожей на ритмический диалог, или поединок виртуозов карнатической музыки¹ на ежегодном декабрьском фестивале.

— Скажи спасибо, что мы обитаем на юге, — начал Младший, зевая и потягиваясь. — Южане мы — на юге города живем, и на юге страны, и на юге материка. Хвала Всевышнему! Мы душевные ребята, неспешные и любвеобильные, не то что эти северяне, холодные, как рыбы.

Старший, почесав сначала живот, потом затылок, тут же ему возразил.

— Во-первых, — заявил он, — юг — это условность, его договорились так называть, и только поэтому он существует. А вот считалось бы, допустим, что верх земного шара с другой стороны! И были бы мы северянами. Вселенной безразлично, где верх, где низ, как, скажем, и собаке. Собака север от юга не отличает. Во-вторых, тебя, например, особенно душевным не назовешь, а услышав о твоём так называемом любвеобилии, всякая женщина рассмеялась бы, но ты уж точно нетороплив, и это еще слабо сказано.

Так они и жили — вечно схватываясь, нападая друг на друга, подобно древним борцам, связанным

¹ Карнатическая музыка — индийская классическая музыка, распространенная преимущественно на юге страны (*Прим. ред.*)

веревкой за лодыжки. Веревкой этой, так крепко их сопрягшей, было имя. По любопытной случайности — которую они считали судьбой, но вслух называли проклятием, — оба носили одно и то же имя, длинное, как и многие имена южан, и оба ленились его выговаривать. Отменив имя, сократив его до инициала V, они сделали свою связку невидимой, но существовать-то она не перестала. Старший и Младший повторяли друг друга и во многом другом — оба были тонкоголосые, жилистые и среднего роста, оба близорукие и оба, всю жизнь прогордившись своими зубами, покорились в конце концов унижительной неизбежности протезирования, но это неупотребляемое имя, это симметричное V, Имя-Которое-Не-Выговоришь, объединяло их прежде всего, и уже много десятилетий.

Дни рождения у стариков, правда, не совпадали. Один был на семнадцать дней старше другого. Отсюда и произошли, наверное, “Старший” и “Младший”, хотя прозвища эти использовались так давно, что все уже забыли, кто же их придумал. И стали они навсегда Ви Старшим и Ви Младшим, вечно спорившими друг с другом не на жизнь, а на смерть, Младшим Ви и Старшим Ви. Обоим исполнился восемьдесят один год. Если старость сравнивать с вечером, за которым следует полуночное забвение, для них уже давно шел одиннадцатый час.

— Выглядишь ужасно, — сказал Младший Старшему, как говорил каждое утро. — Словно помирать собираешься.

Старший, угрюмо кивнув, отвечал — тоже согласно их частной традиции:

— Лучше так выглядеть, чем как ты — словно все еще жить собираешься.

Оба теперь плохо спали. Лежали по ночам на жестких постелях без подушек, гоня беспокойные мысли за сомкнутыми веками. Из них двоих Ви Старший прожил гораздо более насыщенную жизнь. У него было девять старших братьев, и все они преуспели на избранном поприще, сделавшись спортсменами, учеными, педагогами, военными, священниками. Он и сам стал в колледже чемпионом по бегу, потом дослужился до высокого поста в железнодорожной компании и много лет ездил по железным дорогам — десятки тысяч километров отмахал, убеждаясь сам, а затем убеждая начальство, что безопасность обеспечивается. Он женился на хорошей женщине, стал отцом шестерых дочерей и троих сыновей, которые, оказавшись в свою очередь все как один плодовитыми, понаделали ему вагон внуков, а именно тридцать три. Девять его братьев тоже наплодили детей — племянников и племянниц Старшего (и их в общей сложности было тридцать три), а те взвалили на него еще не меньше ста одиннадцати родственников. Многие посчитали бы это подарком судьбы, ведь человек, которому посчастливилось иметь семью из двухсот пяти человек, воистину богат, однако аскетичному Старшему такое изобилие причиняло легкую, но непроходящую головную боль.

— А как бы спокойно жилось, будь я бездетным, — частенько говорил он Младшему.

Выйдя на пенсию, Старший каждый день встречался с девятью своими друзьями, они собирались по близости, в одной из кофеен района Бесант-Нагар, — поговорить о политике, шахматах, поэзии и музыке, и некоторые комментарии Старшего на упомянутые темы публиковались в лучшей городской газете. В числе его друзей был и редактор этой газеты, и один из ее постоянных авторов — местная знаменитость, любитель (немного) побуянить и (много) выпить, но при этом автор уморительнейших политических карикатур. Был и лучший астролог города, который учился на астронома, но пришел к убеждению, что истинные послания звезд через телескоп не считываются, был и стартер, много лет стрелявший из пистолета на популярнейших скачках, и прочие. Старший наслаждался их обществом и любил говорить жене, что это великое дело — иметь друзей, у которых постоянно чему-то учишься. Но все они уже поумирали. Сгорели один за другим, и кофейня, где сохранилась бы память о них, пошла под снос.

Из десяти братьев остался он один, и жены братьев тоже давно отправились на тот свет. Даже добрая жена Старшего умерла, и он на старости лет женился повторно — нашел себе через брачного агента вдову с деревянной ногой, но этим удобным для обоих союзом оба были недовольны. Вместо несчастливого одиночества они попали в ловушку несчастливого сожительства. Старший относился ко второй жене с таким

раздражением, что удивлял собственных детей и внуков. “В мои годы особо выбирать не приходится, — язвительно говорил он ей, — вот и пришлось взять тебя”. Она платила ему той же монетой, игнорируя его простейшие требования, даже просьбу принести воды, а уж в этом культурные люди никому и никогда не отказывают. По имени — Аарти — Старший никогда ее не называл. Уменьшительно-ласкательных имен тоже не использовал. Говорил только “женщина” или “жена”.

Он терпел многочисленные недуги глубокой старости, ежедневные наказания посредством уретры и кишечника, колена и спины, и постепенно наползающую катаракту, и одышку, и ночные кошмары — ослабевший механизм постепенно выходил из строя. Дни его пустовали в томительном бездействии. Раньше, чтобы чем-то себя занять, он преподавал математику, пение и ведическую науку. Но ученики к нему больше не ходили. Остались только жена с деревянной ногой, мутный экран телевизора и Младший. А этого было отнюдь не достаточно. Каждое утро он сожалел, что не умер ночью.

Из двухсот пяти младших членов его семьи немало уже отправилось в погребальный костер. Старший не помнил, сколько в точности, и имена их неизбежно ускользали из памяти. А многие из оставшихся в живых приходили навещать его и относились к старику заботливо и нежно. Когда он заявлял, что пора бы и умереть, а случалось это частенько, они делали горестные лица, сникали или, наоборот, становились жестче — в зависимости от характера — и говорили

ему ободряющим, утешительным и, разумеется, обиженным тоном о драгоценности жизни, в которой так много любви. Но любовь стала досажать ему, как и все остальное. Мое семейство — как москиты, думал он, звенящий рой, а вся любовь их — одни укусы и зудение.

— Как жаль, что нет такой спирали: зажег — и отпугнул родню! — говорил он Младшему. — Или сетки специальной — над кроватью натягивать.



Для Младшего жизнь обернулась разочарованием. Он не думал, что станет заурядным. Любившие его без памяти родители внушили Младшему мысль о каком-то там предназначении, каких-то обоснованных притязаниях, но он оказался человеком посредственных способностей, которого посредственные успехи в учебе обрекли на судьбу простого служащего в конторе предприятия водоснабжения. Свои не такие уж посредственные мечты — о дальних путешествиях на поездах, автомобилях и самолетах — он давно оставил, а все-таки был очень даже счастлив. Натура менее жизнерадостная, может, и устрашилась бы, обнаружив у себя неизлечимую болезнь бездарности, но Младший по-прежнему с восторгом смотрел на мир, всегда готовый улыбнуться.

При очевидном жизнелюбии ему, правда, явно не доставало энергии. Он не бегал, только ходил, причем не спеша — и делал так всегда, даже в далекой юности. Терпеть не мог физкультуру и все время незло-

биво подкалывал тех, кто ею занимался. Политика его не интересовала, как и вездесущее массовое кино и размножавшаяся от него музыка. Никакого значительного участия в параде жизни он так и не принял. Женат не был. Великие события последних восьми десятилетий свершились как-то сами собой, без его усилий и помощи. Он наблюдал, оставаясь в стороне, как пала империя и возникло независимое государство, и избегал высказываний по этому поводу. Служил себе в конторе. Следил за подачей воды в городе, и этой непростой обязанности ему хватало. А все же Младший со всех сторон производил впечатление человека, который до сих пор радуется жизни. Он рос без братьев и сестер, а потому и позаботиться о нем на старости лет было почти что некому. И безразмерная родня Старшего давно уже усыновила Младшего, носила ему еду в контейнерах, пеклась о его нуждах.

Время от времени орда родичей, навещавших Старшего, поднимала вопрос о стене, разделявшей их с Младшим соседние квартиры: не снести ли ее, чтобы облегчить старикам общение? Но на этот счет Старший и Младший проявляли полное единодушие. — Нет уж! — говорил Младший.

— Я скорее умру! — уточнял Старший.

— И тогда уж это точно будет никому не нужно, — добавлял Младший, как бы подводя под разговором черту.

И стена оставалась на месте.

У Младшего был один друг, на двадцать лет моложе, по имени Д'Мелло — коллега с прежней работы. Д'Мелло родился и вырос в другом городе — ле-

гендарном и стервозном Мумбаи, *urbs prima in Indis*¹, — и с ним приходилось говорить по-английски. Всякий раз, когда Д’Мелло заглядывал к Младшему, Старший дулся и замолкал, при том что мастерски владел, как он выражался, “языком номер один в мире” и втайне этим гордился. Он не признавал мотивов своего недовольства, своей двойной обиды, вызванной, во-первых, вторжением постороннего в размеренный ритм их с Младшим сварливой дружбы, а во-вторых, тем, что этот посторонний приносил с собой слишком много оживления, напоминавшего Старшему о собственных говорливых, но ушедших уже друзьях. Младший все понимал и старался скрыть от Старшего, что с нетерпением ждет визитов Д’Мелло, ведь в этом молодом по сравнению с ними человеке бурлил этаким космополитичный, воодушевляющий задор. Д’Мелло всегда являлся с какими-нибудь историями — он то возмущенно описывал притеснение бедняков из мумбайских трущоб, то рассказывал анекдоты о разных персонажах, заходивших на досуге в “Уэйсайд Инн”, знаменитое мумбайское кафе в районе Кала-Года, названное так в честь несуществующей уже скульптуры всадника — “район Черной Лошади, из которого выгнали черную лошадь”². Д’Мелло влюблялся в кинозвезд (на расстоянии, разумеется), сообщал своим слушателям кровавые подробности серийных убийств, совершенных еще не пойманным маньяком в Тромбее, пригороде

1 Первый город в Индии (*лат.*) (Здесь и далее, если не указано иное — *прим. пер.*)

2 Уже после этих событий статую черной лошади вернули, но без колонизатора-всадника. (*Прим. авт.*)

Мумбаи. “Этот мерзавец до сих пор на свободе!” — село восклицал он. Речь Д’Мелло была усыпана восхитительными названиями: *Уорли-Си-Фейс*, *Бандра*, *Хорнби-Веллард*, *Брич-Кенди*, *Пали-Хилл*. Места эти представлялись гораздо экзотичнее, чем привычные Младшему прозаические Бесант-Нагар, Адьяр, Майлапур...

Самой душераздирающей из мумбайских историй Д’Мелло была повесть о знаменитом городском поэте, жертве болезни Альцгеймера. Поэт по-прежнему каждый день шел на работу в свой маленький, заваленный журналами кабинет, сам уже не зная зачем. Ноги помнили дорогу, вот он и шел и сидел там, уставившись в пространство, пока не наступало время идти домой, и тогда ноги несли поэта обратно к его обветшалому жилищу — сквозь вечерние толпы, копившиеся у входа на станцию Чёрчгейт, мимо торговцев жасмином, шустрых уличных мальчишек, ревущих автобусов, девчонок на скутерах и вынюхивавших что-нибудь съедобное псов.

В обществе Д’Мелло, слушая его рассказы, Младший словно проживал новую, совсем иную судьбу, яркую и бурную, словно замещал на время совсем непохожего на себя, другого человека — энергичного, страстного, увлеченного жизнью. Старший, замечая огонек в глазах Младшего, неизбежно злился. Однажды, когда Д’Мелло, как всегда с жаром, жестикулируя, говорил о Мумбаи и его жителях, Старший, нарушив свой обет молчания, выпалил по-английски: — Почему бы и туловищу твоему не отправиться туда вслед за головой?

Но Д'Мелло лишь печально покачал этой самой головой. В родном городе ему уже не за что было зацепиться. Лишь в мечтах и разговорах Мумбаи оставался ему домом.

— Я здесь умру, на юге, — сказал он Старшему, — среди таких вот кислых фруктов, как ты.

Жена Старшего, женщина с деревянной ногой, мстила неласковому мужу, как могла, заполняя квартиру своей родней. Она тоже была из большой семьи, насчитывавшей сотни человек, и стала особенно часто приглашать в гости молодых сородичей — внучатых племянников и племянниц с супругами и, главное, целым выводком ребятни. Жену Старшего с ее матриархальными замашками радовало присутствие в маленькой квартире грудных детей и малышей постарше, резвых девчонок с косичками и нерасторопных пухленьких мальчишек в большом количестве, которые к тому же — и это было уж совсем хорошо — сводили с ума ее мужа. Особенно его доставали младенцы. Их гремящие погремушки, визгливые повизгивания и смешные смешки. Они засыпали, и тогда Старшему приходилось вести себя тихо, а потом просыпались, и тогда он уже собственных мыслей не слышал. Они ели, испражнялись и срыгивали, и запах какашек и рвоты, сохраняясь в квартире, даже когда младенцы покидали ее, смешивался с другим, особенно неприятным Старшему, — запахом детской присыпки.

— Под конец жизни, — жаловался он Младшему, у которого часто скрывался от вопящей оравы своих и жениных родственников, — нет ничего противней, чем сладкие запахи ее начала, всех этих нагрудничков и ленточек, теплого молока в бутылочках, детских смесей и присыпанных тальком, вечно пукающих поп. — Скоро и ты станешь беспомощным, — ответил, не удержавшись, Младший, — и кому-то придется заботиться о твоих естественных надобностях. Пеленки у нас не только в прошлом, но и в будущем.

Судя по грозной физиономии Старшего, это замечание попало точно в цель.

Ведь, что и говорить, им обоим повезло. Они еще не ослепли и не оглохли окончательно, и память не подводила их, как подвела мумбайского поэта. Пищу они ели мягкую и легкоусвояемую, но все-таки не старперскую кашку. А главное — все еще передвигались самостоятельно, в состоянии были спуститься потихонечку по лестнице, выйти на улицу раз в неделю и доковылять, опираясь на трости и то и дело останавливаясь передохнуть, до ближайшего почтового отделения, чтобы обналичить свои пенсионные чеки. Могли бы и не ходить. Кто угодно из молодых, толпившихся в квартире Старшего, вынуждая его уходить в соседнюю и спорить там с Младшим, охотно сбегал бы получить наличные для двух старых немощных господ. Но господа не хотели, чтобы вместо них бегала молодежь. Самому забрать собственную пенсию — дело чести, и на этот счет хотя бы они не спорили: своим ходом проследовать к кассе, где за металлической решеткой ожидал